

Ухсай, Я. Г. Время, творчество, долг / Я. Г. Ухсай // Советские писатели. Автобиографии. – Москва, 1972. – С. 616-633.

### **Время, творчество, долг**

Я родился 26 ноября 1911 года в селе Слакбаш, Белебеевского уезда, Уфимской губернии (ныне Белебеевский район Башкирской АССР). В этой лесостепной части Башкирии (прекрасная ее природа получила известность по описаниям С. Т. Аксакова) предки мои появились в начале XVIII века. Они бежали сюда с берегов Волги, спасаясь от свирепых преследований за участие в бунтах, направленных против чрезмерных яшачных поборов и насильственной христианизации: язычник должен был платить дьякам непосильную дань даже за питьевую воду, не говоря уже о том, что с него драли три шкуры за узкую полосу скудной неплодородной земли. Появление на башкирской земле бунтарей–язычников, которые придерживались культов бога плодородия – Пихамбара и бога зла – Киремети, имело свои последствия. Оно позже повлекло за собой массовое переселение сюда чувашей, терпевших страшную нищету и голод: как свидетельствуют архивные документы, даже пища из древесной коры и различных трав считалась у них даром божьим.

Став достаточно сильной компактной массой, чувашаи между реками Демой и Иком основали город Белебей, но те беды, которые испытали они на своей древней земле, проникли и в глубь темных башкирских лесов. По тропам пришли сюда купцы и чиновники, а за ними и попы. Во славу господ бога и русского царя попы построили деревянную церковь, но чувашаи ее сожгли. Когда же на пепелище выросла новая, на этот раз каменная, когда солдаты стали вырубать священные рощи, где чувашаи молились богу отцу–небу и богине матери–земле, разъяренные основатели города хоть и не могли теперь справиться с крепким зданием церкви, все равно выбросили в овраг ненавистные иконы. Указом царицы Елизаветы Петровны чувашаи были выселены из Белебея.

Один из белебеевских бунтарей–язычников обосновался в глухом лесу на берегу реки Слак. Он получил прозвище Кашкар, что значит Волк,– он был охотником. «Волк» – это могло быть и его собственное имя: чувашские языческие имена обыкновенно происходили от названий деревьев, зверей, птиц. Эта древняя традиция упорно сохранялась и в то время, когда чувашаи приняли христианство. Скажем, человеку дали имя Семен, но он имел еще и языческое имя, например, Курак – Грач. Существовало поверье: та или иная болезнь, посланная за какие–то тяжкие грехи богом, будет искать жертву по русскому имени «Семен». Но найти его не сможет: Семен–то ведь в народе носит имя Грач. Стараясь сохранить здоровье, жизнь своих детей, чувашаи вели, на их взгляд, хитрую дипломатическую игру, играя на противоречиях между русским богом и своими богами, – а богов этих было у них великое множество, и разделялись они на добрых и злых.

Белебеевский бунтарь Кашкар, как утверждает легенда, в борьбе за сохранение своего рода оказался удачливым. Там, где он ставил капканы на

звериных тропах, в течение одного века выросло большое чувашское село, – и жители его сохранили свой язык, древние нравы и обычаи, несмотря на многоязычное окружение – русских, татар, башкир. Взаимоотношения между иноплеменными деревнями были мирные, но иногда (не без внушения баев, исламистов и царских чиновников и попов) происходили бои местного значения, в которых в качестве оружия применялись оглобли и дубины.

Село Слакбаш известно в народе – его уроженцем является поэт Константин Иванов, основоположник чувашской литературы и чувашского литературного языка. Гибкий и богатый слакбашский диалект, сохранившийся и развившийся в сложной и жестокой борьбе, сыграл свою счастливую роль в оформлении чувашского литературного языка.

Село это, хотя и находилось в двух верстах от Самарско–Златоустов–ской железнодорожной магистрали, придерживалось старинных патриархальных обычаев, разделялось на роды, и эти роды имели свои места моления, своих злых богов для мести другим родам и добрых богов для защиты своего рода.

Наш род, начатый крещеным чувашом Иваном и его некрещеной женой Прта, гордился своими крупными богачами, хитрыми грамотеями– писарями, но не имел своих молитвенных урочищ, своих богов и боженят, – видимо, сильные не нуждались в божественной помощи. Дед мой был состоятельным человеком, но отец разорился после трех пожаров, возникших от гроз, что часто случается на Урале.

Я родился в курной избе холодной осенью в едком дыму. Помню себя очень маленьким: я лежу на нарах–полатах, а отец мне осенними и зимними вечерами рассказывает предания «старины глубокой». Он не знал грамоты, считал себя темным и несчастным человеком, русским языком не владел, но свой язык знал превосходно, со всеми тонкостями. К сожалению, я убедился в этом слишком поздно, когда мое имя уже стало достаточно известно в чувашской литературе, а отец находился в объятиях матери–земли. Я ушел из родного дома четырнадцатилетним подростком, учился, работал, и встречи с отцом бывали редки и коротки. А сейчас, когда волосы стали седыми, перед тем как сесть за рабочий стол, закрываю глаза и стараюсь вспомнить его сочную, образную речь – ведь он и был моим первым учителем. Я больше всего жил и живу в деревне, в гуще своего народа, но редко встречаю чуваша, который бы разговаривал по–чувашски так плавно и чисто, как мой отец. Он часто и не без гордости вспоминал, что Константин Иванов, его близкий родственник, в каждый свой приезд из Симбирска считал своим долгом встретиться и не спеша побеседовать с ним. Я в юности не придавал этому большого значения, но позже, работая над монографией о жизни и творчестве Константина Иванова, особенно при исследовании его языка, пришел к выводу, что поэт, тончайший знаток чувашского языка, имел основательные доводы вести непринужденные разговоры с пахарем в самотканой одежде и лаптях. Отец, человек глубокой пантеистической души, учил меня с детства мыслить поэтически, значит, страстно любить свой язык. Позже в Москве мне выпало счастье учиться законам языка на лекциях Виктора Владимировича Виноградова.

Отец не пел песен и не рассказывал сказок. В те далекие годы осенью и зимой мы, дети, вечерами по очереди дежурили у треноги светца, меняя в нем лучину. Если в поэзию Александра Твардовского вложены искры и звон наковальни отцовской кузницы, то для меня чувашская курная изба в овраге, затерянном где-то в Уральских горах, была не меньшим по значению творческим семинаром, чем поэтический семинар в Литературном институте на Тверском бульваре.

Для шестерых детей надо было напрясть и наткать, и мать наша под жужжание веретена рассказывала нам сказки, порою такие длинные, что мы слушали их в течение двух-трех ночей. Рассказывала не просто, а сопровождала повествование песнями героинь, причем песни пела не только по-чувашски, но и на татарском и башкирском языках, которыми она неплохо владела. Впоследствии, работая научным сотрудником Башкирского научно-исследовательского института языка и литературы, я убедился, что многие сказки, сопровождаемые пением, представляли собой отрывки из не дошедшего до нас башкирского эпоса. Отголоски башкирского эпоса, перешедшие в чувашскую народную поэзию в том или ином виде, могли быть сущим кладом для исследовательской работы, но, к сожалению, и сказки матери у меня не были записаны.

Ранней весной, как только вокруг крыши образовывались желтые сосульки, в курной избе становилось тесно, слишком тесно, хмуро и сыро. Когда утром дети слезали с печки и с полатей, не было места ни сесть, ни стать: в избе прыгали кудрявые ягнята, мычал тонконогий теленок. Но и на воле, где пробивалась зеленая травка, не было торжества народной радости. На кольях заборов и плетней торчали пожелтевшие лошадиные черепа – символы языческой веры, оберегающие народ от бед, а скот от мора. По улицам, как призраки, ходили слепые от трахомы мужики и бабы, тыкая посохом каждый бугорок земли, каждый камень. И все же, как ни страшны и как ни печальны были картины родной мне чувашской деревни, свое рождение я считаю своевременным и удачным, а детство – без кавычек золотым.

Как только поля начинали высыхать, наступало торжество вечно молодой природы. И тогда отец с моим старшим братом Прокопием выезжали на пашню. Меня они тоже непременно брали с собой – «практикантом». По вечерам я сидел у костра, мысленно молился звезде, которая была ярче всех, семь раз подряд повторял давно выученную молитву, прося ниспослать мне счастье научиться писать и стать секретарем сельского Совета. Днем ходил по тем местам, где лет сто назад бродил Сергей Тимофеевич Аксаков – он описал их в «Записках об уженье» и других своих произведениях.

Здесь радостей для меня было вдоволь: на реках Сильби и Чибикаран, где вода и в горячий солнечный день была студена и прозрачна, самодельным крючком ловил проворных пескарей и пестрых, в красных пятнах форелей, с трепетом в сердце слушал воркование горлиц. Как и все наши односельчане, отец старался закончить полевые работы к сроку – к четвергу перед праздником весны. Мы приезжали домой в четверг, чтобы в пятницу встретить весенний праздник семик и праздновать его всю неделю, до следующей пятницы. Среда

по-чувашски называется юнкун – день крови. В этот день чувашаи резали для праздника скотину: богатые – бычка, а бедные – курочку. Каждая пятница для чувашей, хотя крещеных, но крепких приверженцев языческой веры, считалась священной: нельзя было прикасаться ни к какой работе, даже повернуть бревно, лежащее поперек дороги. Неделя семика была большим празднеством: справлялись свадьбы, шел пир горой, молодые парни и девушки на игрищах пели и плясали всю неделю. Конец празднику – и все замолкало. Глубоко поэтическое совпадение: отшумел праздник семик, замолкал народ, переставала куковать и кукушка в лесу. Это значило, что люди закончили полевые работы, а у птиц появились птенцы и наступило время позаботиться о них. После семика старики запрещали молодежи петь и плясать, нельзя было даже бросать на землю палку, чтобы не будить и не тревожить мать-землю, беременную зернами будущего урожая, нельзя было тревожить птиц и зверей, занятых великим и добрым трудом – кормлением своих детенышей.

Мое детство началось в годы, когда старый мир был взорван Октябрем. Мне шел шестой год. Крестьяне нашего села и близлежащих деревень осенью 1917 года захватили имение помещика Пестрова, конфисковали богатые земельные владения министра царского правительства графа Дурново. В годы гражданской войны, осенью и зимой 1918—1919 годов, часто происходили жестокие бои между красными и белыми. Красные воины, обутые в лапти, сражались против отборных офицерских частей Колчака, откормленных, щегольски одетых и до зубов вооруженных Антантой. К сожалению и огорчению бедного люда, эти кровопролитные схватки кончались отступлением красных отрядов. Над нашим селом свистела шрапнель. Был момент, когда мы всей семьей сидели в погребе, отец, заболевший тифом, метался в горячечном бреду, и снарядом разворотило угол нашей избушки...

Наконец наступил май 1919 года. Через наше село шли части легендарной Пятой армии, шли к красавице Уфе, как выразился Фурманов. Моя родная земля, пропитанная вековым народным горем, соленым потом, горячими слезами и святой кровью, для меня была дорога и любима с детских лет, и любовь моя к ней стала темой многих моих стихов, поэм, трагедий и романов. Я в далеком детстве на этой земле молился звездам о счастье, на этой земле нашел свою радость и остался в долгу перед ней – в творческом долгу, и, значит, как в своей бурной юности уверял Николай Тихонов, «про землю стоит говорить».

В нашем селе, имеющем около пятисот дворов, еще до революции была двухклассная школа, дети состоятельных крестьян уезжали потом учиться в Симбирск и Белебей, но в большинстве своем жители села были неграмотны. Знахарь поплюет на воду, подаваемую больным, – это считалось медициной, круженье ворона над селом – предвестником неминуемой беды; если же вдруг залетит в избу ласточка, ее ловили, мазали ей голову сливочным маслом и ждали часа, когда пожалует в дом счастье. По поверьям, боги и черти жили везде: и в подполе, и в роднике, и в бане, и под корнями вяза, одиноко стоящего в поле...

Прошло немного времени после того, как уральская земля была очищена от колчаковщины, и началась новая бурная жизнь. Большое каменное здание, где раньше был склад купца первой гильдии Егора Беляева, стало, как тогда называли, Народным домом. Там ставили пьесы чувашских драматургов и русские пьесы, переведенные студентами Уфимского чувашского педтехникума. Слово «спектакль» тогда не успело получить широкого распространения: имея много согласных звуков, оно было непривычно для чувашского языка. Постановки назывались «чертовыми игрищами», вызывая негодование стариков и старух, этих строгих блюстителей целомудрия и языческой религии. Однако желающих играть на сцене было много даже среди пожилых мужиков. За билеты надо было платить не деньгами, а натурой – яйцами. Предприимчивые руководители драматического кружка обменивали потом на станции эти яйца на керосин.

Артисты в своих играх старались всемерно приблизиться к жизни: если в пьесе были картины выпивки, пили непременно настоящий едкий самогон и ругались натурально, не обращая внимания на то, что читает суфлер. В антирелигиозных пьесах артист, исполняющий роль попа, выходил на сцену в подлинном поповском одеянии. Сельский священник Владимир Андреевич Петров–Туринге с поклоном отпускал им из церк–ви поповские ризы и, «строго засекреченный», сам был неизменным суфлером. Конечно, об этом знали артисты, но факт этот держался ими в строгой тайне. Впоследствии В. А. Петров–Туринге выступал перед населением с лекциями о происхождении мира, стал одним из первых и активных работников потребкооперации среди чувашей Белебеевского кантона.

Бижбулякская школа крестьянской молодежи (я поступил в нее в 1925 году) находилась в сорока верстах от нашей деревни. При школе имелся довольно большой земельный участок. Сюда стекались пешком и на лошадях чувашские дети из всех уголков Башкирии и Самарской губернии. Принимались также русские, украинцы, башкиры, татары и мордвины. Все те, кто не имел возможности снимать угол, жили в одной огромной комнате – было нас тут человек до тридцати. В этом своеобразном крестьянском лицее говорили на пяти языках, но наши раздоры были обычные, не задевали национальные чувства. В первый же год ученья я, будучи председателем пионерского отряда, чувствовал себя удивительно счастливым. Шутка ли сказать, в истории нашей семьи впервые именно я получил выборный пост!

К годовщине Октября я написал в стенную газету маленький очерк – о том, как зимой 1919 года в нашем селе проходил бой между красными и белыми. Один из преподавателей, Даниил Васильевич, мой односельчанин, сказал:

- Попробуй написать стихи.
- Не умею.
- Читай Константина, своего родственника.

Я знал поэму «Нарспи» Иванова, инсценировку этого произведения много раз видел на сцене. Он оставил превосходное описание реки Силь–би, на берегах которой я летом пахал землю и красотой которой восхищался. Но я подумал, что мне, председателю пионерского отряда имени Буденного, не

пристало увлекаться трелями жаворонков над знойным полем, а надо написать стихотворение, где бы бушевал революционный дух. По ночам, когда мои товарищи спали, я лихорадочно шептал строчку за строчкой. Так родилось мое первое стихотворение о герое–революционере, под названием «В тюрьме» – оно появилось в 1926 году в стенной газете ко дню МОПРа.

Я поступил в школу четырнадцати лет и еле–еле объяснялся по–русски. Перечитав уже не один раз все чувашские книги, имевшиеся в библиотеке, я с завистью смотрел на своих товарищей, понимавших толстые книги на русском языке. Система, выработанная еще до революции известным просветителем чувашей Яковлевым, близким другом отца Ленина, – принимать в чувашские школы повышенного типа и русских – была благоприятна во всех отношениях. Мы, чувашские дети и дети других народов, ежеминутно общаясь со своими русскими товарищами, успешно овладевали русским языком, а русские, в свою очередь, любовно изучали чувашский язык: многие из них позже поступили в Уфимский педтехникум и стали учителями чувашских школ.

В школе я познакомился с Пушкиным и Лермонтовым, с Кольцовым и Никитиным. А через некоторое время в нашей библиотеке появился томик Некрасова. Правда, Некрасов на вид мне показался неказистым, и стихи его – не особенно звучными, но потом он стал моим любимым поэтом, причем не поэтом горя и тоски, а певцом горячей веры в народную силу.

В школе был организован литературный кружок, куда ходили почти все учащиеся, потому что писание стихов на манер народных песен стало для многих внутренней потребностью. Даже изложения иногда приобретали стихотворную форму и тем самым ставили в недоумение преподавателя словесности Семена Николаевича в оценке по трехбальной системе: «вуд», «уд» или «неуд». Изложения, как правило, написанные стихами, получали оценки «неуд» или «уд», а прозаические —«вуд». Дело преподавателя словесности осложнялось и тем, что изложения составлялись на русском, чувашском, башкирском, татарском и мордовском языках, каждый писал по–своему, на своем языке.

На страницах рукописного журнала «Сюлам» («Пламя») появлялись стихи сугубо серьезного содержания, воспевающие трактор и товарищества по совместной обработке земли. Авторы возмущались тем, что в деревнях гонят самогон, не борются с трахомой, на темы же любви самими стихотворцами и редколлегией был положен строжайший запрет. Ученики и ученицы, уличенные во взаимной переписке и свиданиях, немедленно вызывались на заседание ученического комитета, и должны были со слезами на глазах исповедаться в своих «амурных грехах» и выслушать строгое внушение. Я свое стихотворство вел в строгих рамках этой морали до весны 1928 года, пока не окончил школу. Тему любви считал запретной и писал довольно длинную поэму «Борцы за свободу», где революционер, разрезав решетку напильником, довольно легко удирает из тюрьмы. В школе был и драматический кружок. Роли молодых влюбленных играли наши преподаватели и преподавательницы; сотрудники и сотрудницы волостных учреждений, а роли ворчливых стариков и старух, для которых давно отзвенел соловьиный сад, обезобразив свои юные

лица гримом, исполняли учащиеся. Когда я был в последнем классе, мне выпал совершенно счастливый, но курьезный случай играть в пьесе Островского «Бедность не порок» роль Мити. На репетиции я объяснился в любви, но как только наступил кульминационный момент, когда надо было обнять свою однокурсницу Катю Тимофееву – Любушку (о поцелуе не могло быть и речи!), я убежал с первой же репетиции, как трус с поля брани.

В 1928 году я поступил на подготовительное отделение Уфимского института народного образования, а через год перешел на курсы по подготовке в вуз, где преимущественно учились партийно–советские работники и юноши, демобилизованные из Красной Армии.

В Уфе мне открылся огромный книжный мир. Стоял я как во сне перед высокими полками в институтской библиотеке, каждый вечер сидел в читальном зале старинной аксаковской библиотеки, почувствовав привязанность к живописи, посещал мастерскую художника Козлова, который неизменно давал мне задание рисовать гипсовые фигуры и яблоки, а вечером в общежитии, когда все спали, садился писать стихи, изливая свою грусть по полевым просторам. Мое стихотворение «Полюбил я вас, поля», написанное в 1928 году, появилось в 1929 году в майском номере журнала «Сунтал», который издавался в Чебоксарах. Это был для меня великий праздник. Такого восторга я не переживал и тогда, когда выходили в свет мои романы и трагедии в стихах.

В Уфе я учился два года, подружился со многими башкирскими писателями, хорошо знал их произведения, восторгался стихами Батыра Валидова о баймакских золотоносных горах, любил слушать гортанный голос Рашида Нигмати на студенческих вечерах. Сагит Агиш и Баязит Бикбай были моими близкими друзьями. Читали они мне на берегу реки Белой под голубым уфимским небом стихи тонких мастеров Дердмэнда и Бабича, пели песни Салавата Юлаева.

Я часто бывал у Мажита Гафури в его деревянном особняке на улице его имени. Видя перед собою чрезмерно скромного, хромого и на вид мужиковатого человека в черной тюбетейке, я не мог его представить великим, называл просто, как принято в простонародье, «Мажит агай», слушал его рассказы, в том числе и о Деме, с детства мне знакомой реке, куда я ездил в гости к башкирам и пил кумыс...

В августе 1930 года отец на станции Глуховской продал четырнадцать пудов гречи, и на эти деньги я поехал в Москву, имея в кармане направление Наркомпроса Башкирской АССР на литературный факультет Московского университета.

Желающих было очень много, при приеме незыблемо сохранялся твердый принцип: «Москва слезам не верит». Но я нашел надежного и рьяного защитника в лице Михаила Юркина, рабочего поэта, бывшего шахтера. Этот чуткий человек вместе со мной в течение недели ходил к Наркому просвещения РСФСР, ректору университета, декану факультета, обивал пороги многих учреждений. С его помощью я стал сверхштатным студентом, получил койку в общежитии на Варварке, Михаил Юркин помог мне материально – до

получения первой стипендии. Об этих фактах мне хочется сказать потому, что русские товарищи мне, как и многим другим писателям из республик, оказали дружескую поддержку, которая особенно нужна при первых робких шагах, когда человек вступает в большую жизнь.

На литературный факультет, созданный на основе брюсовских курсов, как в творческое учебное заведение, принимались молодые поэты, прозаики, критики и литературоведы. Многие из них позже стали широко известны. Слушая впервые лекции профессоров и академиков, я чувствовал себя словно в сказочном мире и сам не верил, что перед памятником Ломоносова стою я, сын неграмотного чувашского крестьянина, который до революции не имел фамилии и был известен в селе как Гаврил. Не пропуская ни одной из встреч в университетском клубе со светилами науки, литературы и искусства, я с болью сознавал свою отсталость, некультурность: пройдя кратковременные курсы по подготовке в вуз, я имел весьма скудные знания. Приходилось много читать, наверстывать упущенное. Но были и издержки в этом приобщении к культуре современности. В студенческом общежитии на Варварке жили молодые поэты, многие из них увлекались «левым искусством», отрицали классику и порой читали такие заумные стихи, что было обидно и удивительно, как подобные вещи печатаются на чистой бумаге. Но я боялся возразить, прослыть профаном и убрал со стола томики Лермонтова и Некрасова. Многие мои друзья по факультету старались примкнуть к какому-нибудь «изму» – Рефу или конструктивизму. В шумной комнате, где споры доходили порой до рукопашных схваток, зародилось и мое желание быть поклонником интересного литературного течения. Я достал сборник Семена Кирсанова, который назывался: «Слово предоставляется Кирсанову». Стихотворения, имеющие геометрические формы, мне очень, даже очень понравились, понравились строки со сложной рифмовкой:

Если вы были картавы,  
Значит, знали муки рта вы.

Я и сам попробовал сочинять по-кирсановски виртуозно, сногшибательно, но вскоре – кажется, после беседы с Анатолием Тарасенковым, – познакомился в университетской библиотеке с творчеством поэтов некрасовского времени – «искровцами» и узнал, что они, особенно Минаев, владели искусством каламбура куда лучше и в мастерские строки вкладывали большой смысл. Мой однокурсник Александр Кравцов, горячий парень из Луганска, лично знавший московских поэтов, доказывал мне преимущество конструктивизма перед другими течениями, в том числен перед футуризмом. Без промедления мной были прочитаны декларативные сборники конструктивистов «Бизнес» и «Госплан литературы». Не осталась в стороне и книга Корнелия Зелинского «Поэзия как смысл». Конструктивизм, который исповедовали в те годы и некоторые крупные поэты, сыграл известную роль в русской поэзии и в поэзии народов СССР, но быстро сошел со сцены – не потому, что критики и поэты наносили ему «Удар за ударом» (так назывался альманах, выходивший под редакцией А. Безыменского), а из ложных принципов, которые сковывали развитие талантов. Поэты моего поколения,

юноши острых социальных страстей, видели в поэзии прежде всего средство перестройки жизни на новых началах, и перед народом хотелось выступить ярко, по-новому, вслед за Маяковским повторяя:

Довольно жить законом,  
Данным Адамом и Евой.

Соблазн быть оригинальным во что бы то ни стало овладел в 30-х годах умами многих поэтов, даже по характеру волевых и целеустремленных. Через несколько дней после поступления в университет я познакомился с Мусой Джалилем, студентом нашего же факультета.

Мы с ним часто гуляли допоздна по московским улицам, когда наступала тишина (тогда машин было мало – не мешали своим движением). Я читал ему на татарском языке стихи Габдуллы Тукая, он мне в ответ – с пафосом декламировал отрывки из «Улялаевщины» Ильи Сель-винского, признанного вождя конструктивизма.

И хотя мои увлечения формалистическими школами были кратковременными, все же на некоторое время я отошел от той народной простоты, к которой стремился в начале своего творческого пути. Первое появившееся в печати стихотворение, написанное в 1928 году без мудрствования и формалистических выкрутасов, обошло многие сборники, стало популярной песней, а стихи 1931—1932 годов я, за редким исключением, не включаю в свои сборники. Я переболел болезнью конструктивистского делячества, стараясь в поте лица зарифмовать химические формулы, страдал некоторое время и опасной болезнью риторики, принимая за образец строки:

Ударим,  
Ударим,  
Ударим,  
Примером  
Ударных бригад.

Приводя эту цитату, я отнюдь не собираюсь неблагодарно бросить камень в поэтический сад своего старого друга Александра Жарова. Но если даже опытный поэт, автор народной поэмы «Гармонь», под аккомпанемент похвал критики в 30-х годах стал чрезмерно крикливым, то можно понять, что молодым, не имеющим еще «намек на усы», поэтам было нетрудно сбиться с верной дороги.

Я так много пишу о русской советской поэзии потому, что мы, поэты других народов советской земли, выросли под ее сильнейшим воздействием, или – выражаясь по-восточному цветисто – наш лунный свет немислим без солнца русской поэзии.

К сожалению, в 20—30-х годах в литературах народов СССР, особенно в критике, нашли отражение рапповские и всяческие другие вульгаризаторские «теории», которые порой принимали чудовищно уродливые формы. Так, например, некоторые чувашские критики всю нашу дореволюционную литературу обливали грязью, как «реакционную», а основоположника чувашской литературы Константина Иванова объявили «кулацким бардом». Эта нигилистическая критика утверждала: так как ивановская форма стиха

родилась, когда еще не было чувашского рабочего класса, форма эта мелкобуржуазная. Чувашское народное творчество также объявили устаревшим, обнаружив в нем дух кулацкой идеологии.

Атмосфера, отравленная беспринципной борьбой и раздорами между литературными течениями и группами, тормозила творческое развитие писателей. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно–художественных организаций положило конец механическому и огульному делению советских писателей на пролетарских, крестьянских и попугачиков, поставило их на единую идейную платформу.

Литературный факультет, позже выделенный как редакционно–издательский институт, оставил во мне самую светлую память. В нем были собраны лучшие преподавательские силы по литературоведению, лингвистике и другим гуманитарным наукам, творческие семинары вели такие выдающиеся мастера слова, как Александр Афиногенов, Николай Асеев, Федор Гладков, Василий Казин, Леонид Леонов.

Еще будучи студентом, я начал сотрудничать в чувашский центральной газете «Коммунар», издававшейся в Москве. В качестве специального корреспондента ездил в промышленные районы с чувашским населением, писал очерки, фельетоны и короткие заметки. Люди, с которыми я встречался во время этих поездок, позже стали героями моих стихов и поэм. Бесхитростные газетные материалы, рассчитанные на широкие массы читателей, вернули меня к простому языку, к стремлению использовать народную мудрость, сконцентрированную в фольклоре, заставили вновь обратиться к классикам, особенно – к К. Иванову и Некрасову.

В 1933—1934 годах, когда я работал в политотделах Приютовской и Бижбулякской МТС Башкирской АССР, родились сюжеты поэмы «Дед Кельбук» и романа в стихах «Перевал», которые, как утверждают критики, являются важным этапом в моем творческом развитии.

Летом 1935 года я поехал в Башкирию, в свое родное село. Мне выпало истинное счастье пешком бродить по чудесным местам, где красота лесов и степей сама «просится» на бумагу. Я слушал рассказы отца, его друзей, где были сочетались с небылицами, и беседы эти стали для меня настоящей творческой лабораторией. Я находил в них такую поэзию, такое богатство и красоту родного слова, каких не встретишь в книгах поэтов, каких не выдумаешь в минуты сильнейшего вдохновения. У меня родился план написать книгу «Сельская хроника», куда должны были войти всякого рода события, происшедшие в одном селе в течение года.

На такую мысль навела меня случайная встреча с крестьянином Мурзуком. Он рассказал мне о том, как он поехал в Москву к всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину жаловаться на решения местных властей. О белокаменной столице Мурзук, которому посчастливилось побывать раньше только в заштатном городе Белебее и увидеть там чудо–технику – водокачку, подающую родниковую воду из–под земли прямо в ведро, рассказывал превосходно. В Москве он ездил в метро, заблудился на шумных перекрестках, его поразила необыкновенная красота и чистота улиц. Он даже боялся вынуть

из кармана свою вонючую трубку, боялся, что при куреве закашляется и не сумеет найти место, куда можно плюнуть.

Взяв лишь малую толику из повествования словоохотливого старика, я написал стихотворение «Рассказ деда Мурзука о поездке в Москву».

Позже, в 1937 году, при встрече, я рассказал о своем земляке и его приключениях в Москве Александру Твардовскому.

– Может быть, у тебя есть стихотворение об этом? – спросил он.

– Есть.

Наспех сделанный подстрочный перевод Александру Трифоновичу понравился, и он передал его Борису Ирину, которого я не знал и с которым впоследствии у меня установились самые теплые отношения как с другом и переводчиком. В его переводе стихотворение было опубликовано в журнале «30 дней».

Живя в деревне, я отыскал, как говорят, золотиносную жилу народной поэзии и решил заняться ее тщательной разработкой. Поэтому я поступил в Башкирский научно–исследовательский институт языка и литературы, где в огромном архиве, к моему счастью, имелись и материалы по истории и культуре чувашей. Мы с башкирским композитором Гебешки любились заводить маленький граммофончик и слушать чувашские песни, записанные на восковых валиках. Их было больше тысячи – огромное духовное богатство.

Я подготовил в Уфе и издал впервые собрание сочинений Константина Иванова в одном томе, куда вошли многие ранее неизвестные произведения поэта, продолжал работу над «Дедом Кельбуком» и «Перевалом», старался всемерно приблизиться к разговорному живому языку и той простоте, которая на первый взгляд наивна и легко достигается, но фактически по своей структуре сложна, как организм всякого живого существа. Для такой простоты надо знать не только народное песенное творчество, но и учиться на произведениях многих поэтов и писателей–прозаиков. Я, например, хоть и не написал ни одного рассказа, многим обязан прозе Аксакова, Толстого, Чехова, Лермонтова.

Чувашская народная мудрость гласит, что грач любит своего грачонка, хотя тот черный и горластый, а голосистого соловья не полюбит. Смысл этой поговорки в том, что, если грач будет подражать соловьиному пению, он не станет ни соловьем, ни грачом. Поэт–творец живет не по птичьим нравам, он любит и других поэтов, но он должен оставаться самим собой, каждое его произведение, может быть, порой и несовершенное, должно быть рождено его душой, пережито его сердцем, проверено его умом.

Когда я был студентом, я часто ходил к Китайгородской стене, где букинисты продавали книги разных поэтов. Любя землю, я искал ее образ в произведениях любимых писателей, читал и таких поэтов, как Николай Клюев, Сергей Клычков – «поэтов земли», но в их стихах вставал передо мною невзрачный панихидный образ уходящей кондовой деревни, мне же нужна была деревня реальная и тяжело и радостно идущая навстречу революционной буре, революционной перестройке. И в те годы, когда критики–вульгаризаторы почти всех, кто пишет о деревне, с презрением называли «мужиковствующими»

писателями, – земля оставалась главной темой моей поэзии. Я много раз перечитывал «Сельские поэмы» Вергилия, мне нравились там картины земной цветущей тишины, и хотя эта идиллия была далека от нашей быстротекущей современности, я понимал: это была истинная поэзия, и она остерегала меня от ложной риторики, присущей тогда многим поэтам, авторам песен и поэм о советской деревне. Меня учили любить землю во всем ее многообразии и широте произведения Толстого и Некрасова.

После постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций я в своих поисках, в своей любви к земле не чувствовал себя одиноким. Радовали меня стихи Михаила Исаковского, Александра Прокофьева, Бориса Корнилова и Павла Васильева. Но крупного произведения на темы, которые меня волновали и над которыми я работал, не было. И мне казалось, что вот-вот должна появиться колхозная поэма, смело соревнуясь с такими произведениями, как «Поднятая целина» и «Бруски». Однажды в одном из номеров «Литературной газеты» я прочитал отрывок из поэмы Александра Твардовского (тогда я еще не был с ним знаком и даже не слышал о нем), и через некоторое время в журнале «Красная новь» эта поэма – «Страна Муравия» – была напечатана полностью. Она подкупала прозрачно-ясным языком, правдивым рассказом о великом переломе в жизни и судьбе крестьянина. Перед моим взором, как живой, вставал Никита Моргу-нок, до боли в сердце близкий и в то же время трагически смешной, когда он поехал искать по необъятной стране обетованную муравскую землю, где

посеешь бубочку одну,  
и та своя.

Поэма Твардовского играла многими красками искрометного русского языка, юмора, она была подлинно новаторской. Такую поэму давно ждал читатель, которому надоели шутки и игры в бирюльки некоторых эстетствующих поэтов. «Страна Муравия» противостояла и крикливо-риторическим стихам о колхозном строительстве, авторы которых кичились тем, что повернулись «лицом к деревне», но знали ее лишь по газетным корреспонденциям и кратковременным творческим командировкам... «Страна Муравия» стала этапным произведением советской поэзии и была восторженно принята писателями разных вкусов и творческих направлений – А. Фадеевым, Н. Асеевым, Б. Пастернаком, К. Чуковским, В. Инбер...

Для меня поэма Твардовского была истинным открытием широкого мира образов советского крестьянства и подтвердила, что мой путь, найденный в процессе изучения чувашского народного творчества, имеет право на существование, вопреки протесту некоторых критиков и редакторов. Была опасность для меня попасть под соблазнительное влияние Твардовского, но было уже поздно, – герой моего стихотворного романа Калля не собирался выезжать в дальние края, а упрямо решил на своей исконно родной земле остаться единоличником, щепкой в колхозном море... Приняв совет языческой религии, темной ночью с косарем в руках он обошел вокруг избы, шепча молитву, свершил железный магический круг, чтоб никакой колхозный дух не проник в его единоличный дом...

Большой вред литературному развитию в Чувашии нанесла, как я говорил, вульгаризаторская критика, объявившая представителями ку–лацко–буржуазной и поповско–миссионерской идеологии почти всех дореволюционных деятелей культуры, просветителей, в том числе великих – Ивана Яковлева и Константина Иванова. Эти рьяные критики–нигилисты везде и всюду обнаруживали скрытый запах местного национализма, найдя его даже в выражении «чувашский народ». Один из таких «чебоксарских марксистов», редактируя антологию чувашской литературы, везде и всюду, в стихах и в прозе, старательно вычеркивал слово «чуваш» и заменял его словом «трудящийся»...

В 1937 году обвинения в буржуазном национализме были приписаны и мне. Они появились в печати как раз в тот момент, когда после автомобильной катастрофы я лежал в районной больнице. Лежать в гипсе и размышлять о своем кошмарном положении – не такое уж веселое занятие. И вот на двух костылях я появился в Москве и нашел приют в малеевском Доме творчества писателей, где после многих ме–сяцев изнурительной бессонницы, в тихой комнате, как потом сообщили мне, спал подряд восемнадцать часов. Проснулся от стука в дверь.

– Жив? – спросил чей–то голос.

– Пока не умер, – сказал я и открыл дверь.

– Твардовский, – сказал он и легко пожал мою руку, как бы остерегаясь причинить мне боль.

Вот тогда–то мы и познакомились с Твардовским. Оказывается, работники Дома творчества, обеспокоенные моим подозрительно долгим молчанием, не раз подходили к моей комнате и наконец попросили Твардовского разбудить меня. Буквально через полчаса, когда мы с Александром Трифоновичем ужинали за одним столом, я перестал чувствовать боль в ногах, и в душу вернулся давно забытый юмор – самое лучшее лекарство. Еще с тех пор, как был прочитан отрывок из «Страны Муравии», я загорелся желанием встретиться с ее автором. И вот желание мое сбылось, как непредвиденное счастье, именно в то время, когда я как никогда нуждался в дружеской поддержке и добром слове.

Мы с Твардовским подолгу бродили по окрестностям Старой Рузы, беседовали о жизни и поэзии... и я убедился, что по–настоящему талантливый человек, как и следовало ожидать, был по отношению к другим серьезным и отзывчивым. И после того, как я бросил костыли, жил в Голицыне и Москве, Александр Трифонович и его жена Мария Ларионов–на тепло и по–родному принимали меня в своей тесной комнате в Большом Могильцевском переулке, заботились о моем здоровье и даже о питании. Часто отрываясь от своей творческой работы и занятий в Институте истории, философии и литературы имени Чернышевского, Александр Трифонович, как брат, помогал мне во всем, делился опытом своего творчества и, для того чтобы убедиться, что я к строевой службе в поэзии годен, повел меня прямо на квартиру академика Сперанского для медицинского обследования.

Весною 1938 года я вернулся в Чебоксары, работал разъездным корреспондентом редакции республиканской газеты, а осенью поехал в Ульяновск, где в чувашском педучилище преподавал чувашский язык и литературу. В Симбирске еще в 1868 году известным просветителем И. Я. Яковлевым с помощью прогрессивной русской интеллигенции, особенно И. Н. Ульянова, отца Владимира Ильича, была открыта чувашская учительская семинария, сыгравшая великую роль в истории чувашского народа, воспитавшая в годы мрачного царизма армию народных учителей. Из этой семинарии вышли первые поэты и писатели, художники и композиторы. Хотя мне на параллельных курсах и заочных семинарах иногда приходилось проводить по двенадцать часов, я находил время рыться в архивах и библиотеках, встречался со старожилами города и особенно любил слушать рассказы старика пенсионера Кузнецова, который учился в гимназии на одном курсе с Владимиром Ильичем. Под старыми вязами, во дворе, больше сорока лет назад часто бывал юный Владимир Ульянов, здесь он встречался с преподавателями и учащимися чувашской школы.

Я собирал материалы о многолетних дружеских связях чувашской интеллигенции с семьей Ульяновых и написал поэму о Никифоре Охот–никове, ныне известном многим в нашей стране и за рубежом по кинофильму «Семья Ульяновых». Охотников был одаренным человеком. Лишь в четырнадцать лет взяв в руки букварь, он поступил в Симбирскую чувашскую школу, которую блестяще окончил и остался в ней преподавателем. С помощью гимназиста Владимира Ульянова в классической дворянской гимназии он сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости и поступил в Казанский университет. Знаменательно, что в знак любви и благодарности к своему юному учителю своего первого сына он назвал Володей.

Никифор Охотников и в университете проявил замечательные способности, был незаурядным математиком и написал несколько блестящих этнографических очерков о чувашах, но в расцвете сил умер, не успев окончить физико–математический факультет.

...Началась Великая Отечественная война, и я вступил в отряд народного ополчения, а в мае 1942 года стал курсантом учебного батальона. Тогда же вступил в ряды партии.

Я был назначен сотрудником газеты «Родина зовет». Скоро наши части вступили в бой с наступающим врагом в городе Воронеже. Солнечный день был совершенно темен от взрывов бомб и от дыма пожаров. Мне, корреспонденту редакции, от одной роты к другой приходилось пробираться ползком и по бетонированным водосточным трубам в районах сельскохозяйственного института и городского парка. Когда дивизия встала на длительную оборону на берегу синего Дона, от имени бойцов и командиров нашей дивизии, рожденной и оформленной на территории Чувашской республики, я написал письмо в стихах к чувашскому народу.

Навсегда осталось в памяти моей прекрасное чувство дружбы, спаянности, взаимной выручки танкистов прославленного Кантемировского гвардейского корпуса, где я был сотрудником газеты «На штурм врага». И сейчас встают в

моей памяти близкие друзья, погибшие и сгоревшие в бушующем огне. Когда все происходит перед глазами на поле брани, героизм кажется особенно простым, и трудно бывает отличить индивидуальные черты самого отважного танкиста, ибо у кантемиров–цев героизм был поистине массовым. Сейчас, спустя годы, особенно ясным становится величие подвига народного, а в то время, когда подвиг совершался, нам, очевидцам, он часто казался слишком простым, обыкновенным.

Для творчества на родном языке у меня почти не было времени, поэтому моя книга военных стихов, написанных от случая к случаю, получилась совсем маленькая, да и художественное ее значение, видимо, не так уже велико – вся энергия и пыл были отданы солдатской газете. Я писал ежедневно и ежечасно короткие очерки и заметки об участниках жестоких сражений, вошедших в историю великой войны, составлял и не имеющие исторического значения, но в то время тоже очень нужные наставления солдатам о необходимости завертывать ноги в чистые портянки.

Прошел путь до Праги, демобилизовался из армии летом 1946 года, до 1949 года работал редактором Чувашгиза. После войны я закончил роман в стихах «Перевал» и поэму «Дед Кельбук», которые были задуманы на заре моей юности и писались долго в виде отрывков и глав. Эти произведения в 1952—1954 годах были изданы и в Москве в переводах на русский язык. И если судить по отзывам печати, имели успех и среди русских читателей, воспитанных в строгих традициях большой русской литературы. В этом прежде всего, разумеется, заслуга таких серьезных и талантливых переводчиков, как Павел Дружинин, Борис Иренин, Николай Чуковский и Лев Пеньковский.

В последнее десятилетие завершил «Агашкюль» – большой роман в стихах о послевоенной колхозной деревне, и трагедию по мотивам поэмы Иванова «Нарспи», издал поэму «Земля», которая является по заглавию первой книгой уральской эпопеи, охватывающей события гражданской войны, участие в ней многих национальностей – чувашей, татар, башкир, русских. Я хочу показать в этой трилогии, как извечный антагонизм между православной церковью и исламом в годы гражданской войны принял формы гнуснейшей дружбы, как бородастый Христос и бритый Магомет несли солдатскую службу в войсках Колчака, ставленника Антанты.

Поскольку земля была и остается моей главной темой, мне хочется, чтобы к каждому ее квадратному метру относились с любовью и заботой. Поэтому часто выступаю в печати со статьями по вопросам правильного землепользования – не только с точки зрения современного научного земледелия, но и с учетом многовекового опыта народа.

Я больше всего люблю жить на природе, поближе к своей «тематике», и тогда вдохновение посещает меня в любую погоду: мне хорошо воспевать и благодатный дождь в дождливый день, любо писать о буране в буранную ночь, когда труба моего небольшого деревянного домика воеет, как бы подсказывая мне ритм стиха...

И сейчас, когда пишутся эти строки, над высокими вершинами сосен восходит солнце, в настежь открытое окно врывается голос кукушки, которая

кукует совсем недалеко, где-то на широковетвистом вязе на берегу озера. Она, видимо, немного устала и, произнеся медленно последнее «ку», замолкла, поставила точку, окончив свое утреннее вдохновение. И мне пора поставить точку, но хочу сказать еще несколько слов в тот момент, когда на ясном небе парит канюк и напрасно плачет, прося воды.

Кстати, о воде и критике: «Критики у нас, чувашей, не существует» – эти слова были сказаны Пушкиным, когда чуваша не имели никакого понятия не только о литературной критике, но и о письменности, когда известным в ученом мире был только один чуваш – Иокинф Би-чурин, друг Пушкина и декабристов, выдающийся китаевед... Но и сейчас, когда выросла наша литература, когда у нас есть доктора и кандидаты филологических наук, все же подлинной критики, от которой тот же великий Пушкин требовал обязательно любви к литературе, критики доброжелательной и нелицеприятной, у нас маловато.

Раньше, например, на мои книги появлялись и похвальные и ругательные рецензии (а порой и «погромные»), в том числе и на произведения, которые я писал долго и считаю своим душевным богатством. С тех же пор как мне были присвоены звания заслуженного деятеля искусств и народного поэта республики, критики в обзорных статьях называют мою фамилию первой. Лучше и удобнее было бы мне стоять, согласно алфавиту, в конце и подвергаться строгому анализу наравне с другими.

Гораздо больше, чем критика, помогают мне сами любимые писатели, изучение их опыта, их мастерства. Хотя стихи – моя стихия, я люблю читать прозу и считаю это очень полезным для поэта: проза учит лаконизму, не терпит суеты и многословия, она предельно ясно передает мысль и учит строить предложения просто, без инверсий, не ломая их в угоду рифме и ритму.

Конечно, поэту, как и всякому человеку, хочется слышать доброе слово о своей работе. Такое слово сказано обо мне Андряном Николаевым в августе 1962 года, когда он после своего четырехсуточного полета вокруг Земли прибыл в свою родную Чувашию и на конференции многочисленных корреспондентов на вопрос, произведения какого чувашского поэта ему нравятся, назвал и мою фамилию.

Мне понравилось в ответах Андряна Николаева и то, что он больше всего на свете любит работу, труд. Я убежден, и в поэтическом творчестве, столь же дерзновенном, как и полет в космос, важны не рифмы, не изыски, не делячество, а труд и работа по глубокому изучению человеческих характеров, рожденных и рождающихся в труде, в работе.

Эти автобиографические заметки и эскизы были написаны в 1963 году, и после этого, если дело вод – течь, и мое призвание и долг оставались прежними – я трудился над новыми произведениями.

Константин Иванов любил трагедию «Фауст» великого Гете и, задумав в юности, когда ему было семнадцать лет, создать по мотивам чувашских сказок и легенд чувашского «Фауста», набросал план будущего произведения и написал около семидесяти строк. Эти материалы и сама идея глубоко затронули меня, вдохновили написать по мотивам народного творчества трагедию в

стихах «Раб дьявола». Мне хотелось передать в ней любовь народа к земле, сложную простоту, я пытался восстановить ивановские традиции классического стиха. Мне приходилось слышать упреки, что в советское атеистическое время я занимаюсь чертовщиной. Чувашская критика не высказала пока свое мнение о произведении, но книга разошлась быстро, – мне кажется, читателям она понравилась.

Я написал несколько лирических поэм о своем детстве (сборник «Звезды моего детства»), о сегодняшнем Приуралье («Сильбийский родник»). Эти книги в русских переводах вышли в издательствах «Советская Россия» и «Советский писатель», некоторые поэмы печатались в московских журналах.

Основной книгой моей жизни остается «Симбирская эпопея» в тринадцати поэмах. Работа над этой книгой близка к завершению. Как я уже писал, мне посчастливилось в 1938—1939 годах работать в Ульяновске, встречаться со многими людьми, которые лично знали юного Володю Ульянова и семью Ульяновых. Я горячо надеюсь, что эта книга, продукт раздумий многих лет, не пройдет мимо сердца читателей.

По давней привычке и глубокой внутренней потребности и впредь буду писать статьи о земле и об охране природы. Еще мой долг – создать капитальную монографию о жизни и творчестве великого чувашского поэта Константина Иванова.

*г. Чебоксары, 1963-1970 гг.*